

A man and a woman in ornate historical armor, possibly from the 16th or 17th century, are shown in a close-up, profile view, looking at each other. The man on the left wears a dark, polished metal helmet with a faceplate and a red velvet collar. The woman on the right wears a similar but more ornate armor with intricate gold and silver decorations and a red velvet collar. The background is a blurred, warm-toned interior.

СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

БРАТ И СЕСТРА

Сергей Патрушев

Брат и Сестра

<https://litres.ru/74337603>

SelfPub; 2026

Аннотация

Пустой — мрачное фэнтези о войне, пустоте и искуплении. Кассиан, легендарный "Ворон Императора", возвращается с очередной победоносной войны, но не чувствует ничего: внутри — лишь ледяная, гулкая пустота. Он исполняет приказы, казнит предателей и убивает без колебаний, пока случайная встреча в старой церкви на окраине не переворачивает его мир.

Лия — девушка, которая моет полы, поёт молитвы и не боится ни его мундира, ни запаха крови. Её простой жест — кусок хлеба становится первой трещиной в броне, за которой следует долгий путь от пустоты к полноте, но империя не прощает слабости: император плетёт интриги, а верность Кассиана подвергается испытаниям, когда приходится выбирать между долгом и человечностью.

Это история о том, что даже самый сломанный меч может обрести смысл, если найдётся рука, готовая держать его не для удара, а для защиты.

Содержание

Глава 1. Пепел на ветру	4
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Сергей Патрушев

Брат и Сестра

Глава 1. Пепел на ветру

Триумфальная арка, возведенная городскими властями за три дня до его официального возвращения, встретила Касиана ещё на подъездной дороге, за добрые пол-лиги до городских ворот — грубое, наспех сколоченное сооружение из свежесрубленных сосновых брёвен, которые даже не удосужились как следует ошкурить, обтянутое алым полотном, уже начавшим трещать по швам и предательски развеиваться на резком северном ветру, пронизывающем до костей и заставляющем лошадь под ним нервно всхрапывать и перебирать копытами, выбивая из промёрзшей дороги мелкие комья грязи. Кто-то из городских чиновников, которым было поручено организовать торжественную встречу, явно торопился и не удосужился позаботиться о том, чтобы буквы на транспаранте легли ровно: золотая краска, нанесённая, по всей видимости, в спешке и без должной подготовки поверхности, потекла под порывами ветра, образовав на грубой ткани уродливые наплывы и подтёки, из-за которых слова «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЮ» выглядели так, словно пытались

сбежать с полотна, оставляя за собой золотистые дорожки, похожие на следы слёз. Кассиан проехал под этой аркой верхом, не замедляя шага своего серого боевого жеребца, и, когда тень от брёвен на мгновение накрыла его, он не почувствовал ровным счётом ничего — ни гордости, ни смущения, ни даже той привычной усталости, которая сопровождала его на протяжении последних трёх лет непрерывных походов.

Впереди, насколько хватало глаз, тянулась широкая мощёная улица, главная артерия столицы, запруженная толпой, которая, казалось, собралась здесь вся без исключения — от мала до велика, от знатных вельмож в дорогих мехах до простолюдинов в заплатанных тулупах, от седых стариков, помнивших ещё прежние войны, до совсем юных мальчишек, забравшихся на фонарные столбы, чтобы лучше видеть проезжающего мимо героя. Люди кричали, махали руками, бросали в воздух шапки, платки, венки из поздних осенних цветов, специально выращенных в оранжереях и доставленных сюда, вероятно, за немалые деньги, и всё это мельтешение, всё это буйство красок и звуков сливалось в одно сплошное, неразличимое пятно, в бессмысленный калейдоскоп из раскрытых ртов, блестящих от восторга глаз и покрасневших от холода щёк. Люди выкрикивали его имя, вернее, то прозвище, которое прилипло к нему за годы бесчисленных войн и которое он сам давно перестал воспринимать как что-то,

имеющее к нему отношение: «Ворон Императора! Ворон! Ворон!» — и этот крик, подхваченный сотнями глоток, метался между каменными фасадами домов, дробился на тысячи осколков, отражался от стен и мостовой, пока не превращался в единый, непрерывный, оглушающий гул, напоминающий шум далёкого водопада или рёв штормового моря, бьющегося о скалы.

Лошадь под ним, серый боевой жеребец, подаренный ему три года назад лично императором в знак особого расположения и признания заслуг, ступала ровно, привычно, не вздрагивая от криков и не обращая внимания на мелькающие перед самой мордой цветы и развевающиеся флаги, поскольку была обучена не бояться ни огня, ни рёва толпы, ни внезапных звуков, ни резких движений, и это спокойствие, это почти человеческое равнодушие животного к окружающему хаосу было, пожалуй, единственным, что сейчас удерживало Кассиана от того, чтобы развернуться и уехать прочь, подальше от этого города, от этой толпы, от самого себя. Он рассеянно погладил жеребца по шее, провёл ладонью по жёсткой, короткой гриве, и этот машинальный жест, который когда-то, в другой жизни, был почти нежным, почти ласковым, теперь казался ему чужим, неестественным, как будто его рука принадлежала кому-то другому, а он сам лишь наблюдал за ней со стороны, не испытывая ни тепла, ни отклика, ни даже простого физического ощущения прикосно-

вения к лошадиной шкуре.

Он перевёл взгляд на собственные пальцы, обтянутые чёрной кожей перчаток, сшитых на заказ из шкуры горного козла, и под этой кожей, он знал совершенно точно, прятались шрамы — старые, побелевшие от времени, и новые, ещё розовые, стянутые грубыми хирургическими нитями, наложенными походными лекарями в спешке, без должного ухода и заботы. Каждая отметина, каждый рубец, каждая неровность на коже имела свою историю, свою битву, своё утро после неё, когда боль от свежей раны мешала думать и заставляла скрипеть зубами, но сейчас все эти истории, все эти воспоминания слились в одну сплошную, непрерывную полосу боли, которую он перестал различать, перестал ощущать, перестал даже помнить, как будто всё, что случилось с ним за эти годы, произошло с кем-то другим, с каким-то посторонним человеком, о котором он знал только понаслышке и чья судьба не вызывала в нём ровным счётом никакого отклика.

Когда он в последний раз чувствовал что-то по-настоящему, остро, всем своим существом, без оглядки и сомнений? Кассиан попытался вспомнить, напрягая память, перебирая в уме годы и события, лица и слова, битвы и перемирия, и не смог. Гнев? Да, гнев был, он помнил его, этот всепоглощающий, испепеляющий огонь, который горел в нём годами,

питая каждое решение, каждый взмах меча, каждую бессонную ночь над картами и донесениями разведчиков. Ярость на врагов империи, на предателей, посмевших поднять руку на то, что он поклялся защищать, на самую судьбу, отнявшую у него слишком многое слишком рано и не оставившую взамен ничего, кроме этой холодной, безжалостной решимости идти вперёд и убивать. Но где-то по пути, он не мог точно сказать, где именно и когда, этот огонь начал затухать, постепенно, незаметно, как гаснет костёр, в который перестали подбрасывать дрова, и в конце концов погас окончательно, оставив после себя лишь чёрные, остывшие угли, которые уже не могли согреть ни его самого, ни кого-либо ещё.

Впрочем, сейчас это не имело ровным счётом никакого значения, потому что толпа, заполонившая улицы столицы от южных ворот до самого императорского дворца, хотела видеть героя, хотела видеть победителя, хотела видеть того самого Ворона Императора, о котором слагали легенды и пели песни в тавернах, и герой, победитель, Ворон Императора въезжал в город, подчиняясь этому желанию, подчиняясь этому ожиданию, подчиняясь этой чужой воле, которая была сильнее его собственной опустошённости.

Улица, по которой они двигались, называлась Королевским Трактом и была главной артерией столицы, соединяющей южные ворота с императорским дворцом, возвышав-

шимся на холме в самом центре города, и вдоль этой улицы, по обеим её сторонам, выстроились дома знати — высокие, узкие, теснящиеся друг к другу, как соревнующиеся за место под солнцем аристократы, с богатой лепниной на фасадах, с коваными балконами, увитыми засохшими плетями плюща, с большими окнами, в которых отражалось серое осеннее небо и мелькающие внизу толпы людей. Сейчас эти балконы были забиты до отказа зрителями, которые свешивались вниз с риском для жизни, удерживаемые лишь тонкими перилами и собственным восторгом, и бросали вниз лепестки роз, монеты, ленты, а некоторые, самые смелые, — даже письма, сложенные в плотные треугольники и перевязанные цветными нитками, в надежде, что герой подберёт хотя бы одно из них и прочтёт. Кассиан скользил по этим людям, по этим домам, по этим балконам равнодушным, ничего не выражающим взглядом, и в голове его не возникало ни одной мысли, ни одной эмоции, ни одного желания остановиться и рассмотреть всё это подробнее.

За домами знати, в боковых улочках, отходивших от Королевского Тракта во все стороны, как вены от главной артерии, толпились простолюдины — ремесленники, торговцы, подмастерья, служанки, посыльные, уличные мальчишки, — и их было во много раз больше, чем всех зрителей на балконах вместе взятых, но они были значительно тише, значительно сдержаннее, словно понимали, что им не положено

шуметь в присутствии своих господ. Однако их молчаливое присутствие, их напряжённые взгляды, их сжатые в кулаки руки и поджатые губы ощущались гораздо сильнее любого крика, потому что эти люди не знали Кассиана лично, не знали, какой он человек, не знали даже его настоящего имени, и для них он был не просто героем, а символом, знаком, обещанием того, что война, забравшая их сыновей, мужей и братьев, наконец-то закончилась, и их облегчение было реальным, осязаемым, почти физически ощутимым в холодном осеннем воздухе, и от этого осознания, от этого груза чужих надежд и ожиданий, лежавшего на его плечах, Кассиану становилось ещё тяжелее, ещё холоднее, ещё пустее внутри.

Лошадь свернула на площадь Трёх Колодцев, просторную, вымощенную серым гранитом и окружённую по периметру зданиями гильдий и торговых домов, и Кассиан машинально, краем глаза, отметил изменения, произошедшие здесь за время его отсутствия. Ювелирная лавка на углу, принадлежавшая, насколько он помнил, старому мастеру по имени Арелий, который славился на весь город своими филигранными серебряными украшениями, сменила вывеску и, судя по всему, владельца, потому что новая эмблема — золотой скорпион на чёрном фоне — не имела ничего общего с прежним скромным изображением серебряной лилии. Старый платан, огромный, раскидистый, под которым он когда-то играл в детстве, прячась от летней жары в его густой

тени, был срублен, и на его месте теперь возвышался мраморный фонтан с бронзовыми дельфинами, извергающими из пастей тонкие струи воды, которые, впрочем, из-за холода уже почти не текли, а лишь жалко сочились, застывая на краях каменной чаши ледяными наростами. Лавка зеленщика, куда мать посылала его за яблоками и зеленью, превратилась в дорогой винный магазин с тёмными стёклами витрин и важным швейцаром у входа, одетым в тёмно-зелёную ливрею с золотыми пуговицами.

Он не был в столице три года — срок, казалось бы, не такой уж большой для войны, но вполне достаточный для того, чтобы город, который он когда-то знал, который он когда-то считал своим, стал для него совершенно чужим, неузнаваемым, незнакомым, словно он попал сюда впервые в жизни, а не вернулся после очередной военной кампании. Или, может быть, подумал он с той отстранённой ясностью, какая бывает у человека, долгое время находившегося на грани истощения, дело было вовсе не в городе, не в смене вывесок, не в срубленном платане и не в новых фонтанах, а в нём самом, в том, как сильно он изменился за эти годы, как незаметно для самого себя превратился из того юноши, каким он уезжал отсюда, в это холодное, безразличное существо, не способное ни к чему, кроме войны.

Кассиан натянул поводья, заставляя жеребца остановить-

ся посреди площади, и за его спиной немедленно замер и весь эскорт — дюжина всадников в парадных доспехах, начищенных до зеркального блеска и украшенных алыми плюмажами, специально отобранных для триумфального въезда из числа самых знатных и самых молодых офицеров, каждый из которых смотрел на своего командира с тем особым обожанием, смешанным с почтительным страхом, какое испытывают молодые люди к тому, кто уже стал легендой при жизни. Все они застыли в ожидании приказа, не смея пошевелиться без команды, и Кассиан, чувствуя на себе их напряжённые, выжидающие взгляды, неожиданно для самого себя решил, что не собирается им ничего приказывать.

Он спешился.

Толпа, заполнившая площадь, вздрогнула и зашумела, волна удивления прокатилась по ней от одного края до другого, и кто-то из городских чиновников, маленький толстый человечек в парадном кафтане с золотыми пуговицами, которые, казалось, вот-вот оторвутся от чрезмерного натяжения, бросился к Кассиану, размахивая какой-то грамотой, свёрнутой в трубку и перевязанной алой лентой, — вероятно, заранее заготовленной речью, полной высокопарных слов о доблести, чести и славе империи. Кассиан проигнорировал его, проигнорировал его испуганное лицо, его раскрытый в беззвучном вопле рот, его грамоту, которая выпала из рас-

топыренных пальцев и покатила по гранитной мостовой, подхваченная ветром. Он стянул перчатки, сунул их за пояс и направился к фонтану.

Вода в каменной чаше, несмотря на холод, всё ещё текла — очевидно, подземные ключи, питавшие фонтан, были достаточно тёплыми, чтобы не замерзнуть полностью даже в конце октября, — и была она чистой, прозрачной, с лёгким металлическим привкусом, какой бывает у воды из глубоких источников. Кассиан опустил ладони в эту ледяную, обжигающую воду и начал умываться — неторопливо, тщательно, смывая дорожную пыль с лица, с шеи, с волос, которые за время долгого пути слиплись в неопрятные пряди, падавшие на лоб. Толпа притихла, наблюдая за этим странным, почти священнодейственным ритуалом, и молодые всадники за его спиной недоумённо переглядывались, не понимая, что происходит и как им следует себя вести в этой непонятной ситуации.

Кассиан не объяснял. Он выпрямился, отряхнул капли с волос, провёл мокрой ладонью по лицу, стирая остатки воды, и огляделся по сторонам — медленно, внимательно, словно видел эту площадь, этот город, эту толпу впервые в жизни.

Да. Тот самый город. Но не тот.

Дом, в котором он вырос, стоял на пересечении Гончарной улицы и переулка Святого Ансельма, в северной части столицы, в старом квартале, застроенном ещё до третьей династии и сохранившем с тех времён лишь узкие кривые улочки, вымощенные неровным булыжником, да дома, лепившиеся друг к другу так тесно, словно стайка замёрзших воробьёв, ищущих тепла друг в друге. Когда-то, много лет назад, этот квартал был ремесленным, и в нём селились гончары, кузнецы, пекари, ткачи, сапожники — все те, кто кормил столицу своими руками и своим трудом. Потом, постепенно, по мере того как город разрастался и богател, квартал начал ветшать, приходить в упадок, и теперь в нём жили только те, кому было не по карману снять жильё ближе к центру, — бедняки, подёнщики, вдовы, старики, доживавшие свои дни в полуразвалившихся домах с протекающими крышами и печами, которые дымили так, что в холодные дни над всем кварталом висело сизое марево.

Кассиан не был здесь пятнадцать лет.

Он шёл пешком, оставив эскорт на площади, точнее, он просто повернулся и ушёл, не говоря ни слова, не отдавая никаких распоряжений, не оборачиваясь на растерянные лица своих офицеров, и никто — ни эти офицеры, ни чиновники, ни стражники, ни сама толпа — не осмелился его остановить или хотя бы окликнуть, потому что в этом человеке,

уходившем прочь с площади Трёх Колодцев, было что-то такое, что заставляло людей расступаться перед ним, как вода расступается перед носом корабля. Всадники остались стоять у фонтана, беспомощно переглядываясь и не зная, что им делать дальше, а чиновник с грамотой так и застыл на том же месте, где стоял, с открытым ртом и выпученными глазами, не успев произнести ни единого слова из своей заготовленной речи.

По мере того как Кассиан углублялся в лабиринт узких улочек, уходивших от площади в северном направлении, крики толпы постепенно затихали, сменяясь обычным, будничным городским шумом, который, казалось, существовал здесь всегда, независимо от праздников и войн: стук деревянных колёс по булыжнику, крики разносчиков, предлагавших свой нехитрый товар, лай бродячих собак, скрип колодезных воротов, стук молотков из мастерских, обрывки разговоров, доносившиеся из открытых дверей трактиров и лавок. Он шёл быстро, не оглядываясь по сторонам, не замедляя шага, но краем глаза, боковым зрением, тем особым зрением, которое выработалось у него за годы войны и позволяло замечать малейшие детали обстановки, не поворачивая головы, он отмечал каждую перемену, каждое отличие этого квартала от того, каким он его помнил. Вот лавка старого Марона, толстого добродушного торговца сладостями, который всегда угощал окрестных мальчишек леденцами и оре-

хами в мёду, — теперь на её месте расположилась какая-то красильня, и из её дверей валил едкий разноцветный пар, окрашивавший мостовую в причудливые оттенки фиолетового и зелёного. А вот колодец, у которого его мать каждое утро набирала воду, приходя сюда с рассветом, чтобы успеть занять очередь раньше других женщин квартала; сам колодец, к счастью, сохранился, но деревянный сруб, над которым когда-то скрипел старый журавль, был заменён новым, каменным, а вместо журавля теперь стоял железный ворот с цепью, наматывавшейся на барабан с глухим лязгом.

Он свернул в переулок Святого Ансельма, узкий, тёмный, зажатый между высокими задними стенами домов, выходявших фасадами на соседние улицы, и сердце Кассиана, вопреки всему, вопреки той пустоте, которая, как ему казалось, заполнила его целиком, пропустило один-единственный, едва заметный удар, когда он увидел знакомые очертания: три окна по фасаду, узкая дверь, выкрашенная когда-то, в незапамятные времена, зелёной краской, которая теперь облупилась до такой степени, что под ней проступило серое, выветренное, изъеденное временем дерево, и просевшая крыша, грозившая обвалиться при первом же сильном снегопаде. Он остановился, не дойдя до двери нескольких шагов, и замер, глядя на дом так, как смотрят на призрака, в реальность которого отказываются верить.

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как он в последний раз стоял на этом пороге, и дом выглядел именно так, как должен выглядеть дом, в котором пятнадцать лет никто не жил и за которым никто не присматривал: ставни первого этажа были заколочены наглухо, крест-накрест прибиты толстыми досками, уже начавшими подгнивать, но на втором этаже одно окно оставалось открытым — вернее, просто выбитым, потому что от рамы не осталось почти ничего, кроме нескольких щепок, торчавших из пазов. На подоконнике, нахохлившись от холода, сидел голубь и чистил перья, не обращая ни малейшего внимания на застывшего посреди переулка человека в чёрном плаще, и Кассиан, глядя на эту птицу, на это безразличное, равнодушное существо, занимавшееся своими делами в его бывшем доме, вдруг почувствовал что-то, отдалённо напоминающее горечь, но тут же подавил это чувство, как подавлял всё, что могло помешать ему идти дальше.

Он подошёл ближе, и его ладонь, затянута в грубую кожу дорожной перчатки, легла на дверную ручку — холодную, шершавую, покрытую слоем ржавчины, которая осыпалась под пальцами мелкими бурыми чешуйками. Он надавил, но дверь, разумеется, была заперта, и замок — новый, массивный, навесной, явно повешенный не так давно, потому что на нём ещё не успела появиться ржавчина — висел на дужке, поблёскивая в тусклом свете позднего осеннего дня. Кто-

то позаботился о том, чтобы дом оставался закрытым, кто-то, кто имел на него права или просто не хотел, чтобы сюда проникали посторонние, и Кассиан, глядя на этот замок, не мог не задаться вопросом, кто же этот человек и какие у него могут быть виды на этот разваливающийся, никому не нужный дом.

Он отступил на шаг, отступил в тень противоположной стены, и тишина, окружавшая его, показалась ему неестественной, неправильной, неживой, потому что в этом переулке, насколько он помнил, никогда не бывало тихо: здесь всегда играли дети, гоняя по булыжникам деревянные обручи и крича друг другу что-то на своём, особом, детском языке; здесь всегда ссорились соседки, высунувшись из окон и перебрасываясь через переулок колкими замечаниями; здесь всегда стучали инструменты ремесленников, работавших в своих мастерских, двери которых выходили прямо на улицу. Теперь же — только ветер гулял между стенами, подхватывая с земли пожухлые листья и мелкий мусор, да голубь, испуганный его появлением, лениво захлопал крыльями и улетел прочь, скрывшись за поворотом.

Кассиан обошёл дом сзади, протиснувшись между стеной и покосившимся забором соседнего участка, и вышел на узкий двор, огороженный когда-то ровным, а теперь покосившимся и местами обвалившимся штакетником. Двор зарос

бурьяном по пояс — сухие, ломкие стебли полыни, репейника и ещё какой-то сорной травы, названия которой он не знал, торчали из земли, как обломки костей, и шуршали под порывами ветра, создавая тот особый, сухой, шелестящий звук, какой бывает только поздней осенью в заброшенных местах. Старая яблоня, которую посадил ещё его дед и с которой он, будучи мальчишкой, каждое лето лазал за самыми спелыми, самыми румяными яблоками, стояла сухая, чёрная, мёртвая, и её голые ветви тянулись к небу, как скрюченные пальцы умирающего, молящего о пощаде, и Кассиан, глядя на это мёртвое дерево, на этот остов некогда цветущего сада, невольно подумал, что всё это очень похоже на мольбу, оставшуюся без ответа.

Он не стал перелезать через забор, не стал входить во двор, не стал подходить к мёртвой яблоне и не стал искать способ проникнуть внутрь дома, потому что прекрасно понимал, что не найдёт там ничего, кроме пыли, плесени и, возможно, нескольких полусгнивших половиц, готовых проломиться под его весом. Он просто стоял и смотрел, стоял и смотрел на этот дом, на этот двор, на это мёртвое дерево, и холодный северный ветер, пронизывающий до костей, постепенно начал пробираться под плащ, забираясь под одежду, прижимая ткань к телу и заставляя кожу покрываться мурашками, но Кассиан не замечал этого холода, не чувствовал его, как не чувствовал уже давно почти ничего, что касалось

его собственного тела.

Из всех комнат этого дома, из всех его углов, закоулков и помещений, он лучше всего помнил кухню, маленькую, всегда тёплую, пропахшую дымом от печи и запахом свежееспекённого хлеба, который его мать пекла каждое утро, поднимаясь затемно, задолго до того, как просыпались остальные обитатели квартала. У очага стояла деревянная скамья, грубо сколоченная из толстых досок и отполированная до блеска бесчисленными прикосновениями, и на этой скамье его мать сидела долгими зимними вечерами, штопая одежду, перебирая крупу или просто глядя в огонь с тем отстранённым, задумчивым выражением лица, какое бывает у людей, привыкших к одиночеству. Она умерла, когда Кассиану было девять лет, умерла от лихорадки, которая за три дня сожгла её дотла, превратив из живой, тёплой, пахнущей хлебом женщины в измождённую, бледную тень самой себя, и он, девятилетний мальчишка, стоял у её постели, держал её руку и смотрел, как уходит жизнь из её глаз, не понимая до конца, что происходит. Теперь, спустя двадцать пять лет, он почти не помнил её лица — только смутный, ускользающий образ, сотканный из обрывочных воспоминаний: тёмные волосы, усталые глаза, тёплые руки, покрытые мелкими трещинками от постоянной работы с тестом и водой. Иногда ему казалось, что он помнит её голос, но, когда он пытался воспроизвести его в памяти, в голове звенела лишь пустота —

та самая пустота, которая, как он начинал понимать, была единственным, что у него осталось.

Отец умер ещё раньше, когда Кассиану не было и пяти, и о нём он помнил ещё меньше — просто высокую фигуру в дверях, уходящую на рассвете в кузницу, и запах кузнечной гари, вьёвшийся в его одежду и кожу настолько глубоко, что его не могло вывести никакое мыло. Потом пришли люди из цеха, хмурые, молчаливые, не знающие, куда девать глаза, принесли свёрток с инструментами — молотком, клещами, какими-то подковами, — и сказали, что был несчастный случай, и что отец умер быстро, не мучился, и что цех позаботится о его семье. Кассиан не плакал тогда, не проронил ни слезинки, и мать, глядя на него с тем особым, тревожным выражением, какое бывает у женщин, столкнувшихся с горем, слишком большим для понимания, тихо сказала: «Он был хорошим человеком. Ты похож на него». Больше она об отце не говорила.

После смерти матери его забрал дядя, младший брат отца, человек холодный, расчётливый, не жестокий, но глубоко, до мозга костей, равнодушный ко всему, что не касалось его собственной выгоды. Дом заколотили — сам дядя и заколотил, собственноручно прибив доски к ставням первого этажа, — и с тех пор он стоял пустым, постепенно разрушаясь, оседая, умирая, как и весь квартал, как и всё, что бы-

ло связано с прежней жизнью Кассиана. Дядя относился к племяннику как к обузе, от которой рано или поздно нужно избавиться, и избавился при первой же возможности, отдав его в военную школу, как только Кассиану исполнилось двенадцать лет и он достаточно окреп, чтобы выдержать тамошние порядки.

С тех пор началась другая жизнь, совершенно не похожая на ту, что была у него прежде: казармы с их жёстким распорядком, муштра, доводившая до кровавых мозолей на ладонях, первые раны, полученные в учебных поединках, первые настоящие убийства, совершённые на полях настоящих сражений. Война за войной, поход за походом, битва за битвой — и всё это слилось в один непрерывный, бесконечный поток, в котором не было места ни сомнениям, ни воспоминаниям, ни чему-либо ещё, кроме простого, животного желания выжить. Повышения, награды, слава, титулы, земли, деньги — всё это приходило к нему само, без его активного участия, как дань, которую мир платил ему за то, что он был лучшим в том, что делал, а делал он одно — убивал.

Всё то, что привело его сюда, к этому заколоченному дому на краю обветшалого квартала, к этой мёртвой яблоне, к этому холодному осеннему ветру, завывающему в пустых переулках.

Кассиан развернулся и пошёл прочь, не оглядываясь, не прощаясь, не оставляя за собой ничего, кроме следов на пыльной мостовой, которые ветер занесёт уже к утру. Он знал, что больше никогда сюда не вернётся, и это знание, как ни странно, не причиняло ему боли — оно просто было, как факт, как данность, как всё остальное в его жизни.

Император выделил ему особняк в аристократическом квартале, в самом престижном районе столицы, неподалёку от дворца: трёхэтажное здание из белого камня, с собственным садом, в котором росли аккуратно подстриженные кусты и несколько старых лип, с конюшней на десять лошадей, с каретным сараем и даже с небольшим фонтаном во внутреннем дворе, который, впрочем, как и все фонтаны в городе, на зиму перекрывали. Кассиан вошёл в этот особняк впервые за три года, толкнув тяжёлую входную дверь, которая поддавалась с неохотным скрипом, и остановился в вестибюле, прислушиваясь к звукам дома.

В доме было холодно.

Нет, не просто холодно — в нём было пусто. Та особенная, ни с чем не сравнимая пустота, которая поселяется в жилых помещениях независимо от того, насколько хорошо за ними ухаживают и как часто их проветривают, пустота, которая ощущается не столько на физическом уровне, сколько

на каком-то ином, более тонком, более интуитивном, и которую невозможно ни спутать, ни не заметить. Кассиан медленно, не спеша, снял плащ, повесил его на крюк у двери, стараясь не создавать лишнего шума, хотя понимал, что его никто не услышит: никто не вышел встретить его, никто не поспешил принять у него верхнюю одежду, никто не предложил горячего вина или хотя бы чаши воды с дороги. Он не предупредил слуг о возвращении — точнее, он просто не подумал об этом, не счёл нужным, не придавал этому значения, и теперь расплачивался за свою беспечность ледяной тишиной пустого дома.

Он прошёл через вестибюль в главный зал, просторный, с высоким потолком, с которого свешивалась массивная бронзовая люстра на сорок свечей, с камином, выложенным серым мрамором и украшенным резьбой в виде виноградных лоз, с коврами, привезёнными, судя по всему, из восточных провинций, с шпалерами на стенах, изображавшими сцены охоты и мифологические сюжеты. Всё стояло на своих местах, всё было именно так, как он оставил три года назад, и это неизменное, застывшее, музейное постоянство производило на Кассиана гнетущее впечатление, словно он попал не в собственный дом, а в некий мавзолей, воздвигнутый в память о человеке, которого больше не существует. Он провёл пальцем по поверхности стола, и пыли не было, и стол был отполирован до блеска, и это означало, что слуги работали

исправно, прилежно, не покладая рук даже в отсутствие хозяина, но чистота эта была какой-то безжизненной, стерильной, лишённой той тёплой, живой небрежности, которая отличает жильё, в котором действительно живут, от помещения, которое всего лишь содержит в порядке.

Он поднялся на второй этаж, в свой кабинет, по широкой лестнице с дубовыми перилами, отполированными до блеска бесчисленными прикосновениями ладоней — не его ладоней, разумеется, а ладоней слуг, которые за эти три года, вероятно, только и делали, что поддерживали в доме видимость жизни. Здесь, в кабинете, стоял ещё один стол — письменный, заваленный бумагами, которые он не успел разобрать перед последним походом, — и Кассиан, опустившись в кресло, почувствовал, как пружины под ним жалобно скрипнули, протестуя против его веса. Он окинул взглядом комнату, отмечая про себя каждую деталь: книжные шкафы вдоль стен, забитые томами, которые он никогда не читал и, вероятно, никогда не прочтает; большую карту империи на стене, испещрённую отметками, сделанными его собственной рукой во время планирования военных кампаний; походный сундук в углу, покрытый дорожной пылью, которую слуги так и не удосужились вытереть. Ничего личного. Ничего, что говорило бы о человеке, который здесь живёт, который здесь когда-то жил или должен был жить.

На столе, поверх вороха бумаг, лежала стопка писем, перевязанная бечёвкой, и Кассиан, взяв верхнее, сломал сургучную печать и пробежал глазами по строкам. Отчёты, счета, приглашения на приёмы, на балы, на охоты, на свадьбы и крестины, на все те бесчисленные светские мероприятия, на которые он никогда не ходил и на которые его, тем не менее, продолжали приглашать с завидным упорством, словно надеясь, что когда-нибудь он всё-таки соизволит явиться. Он откладывал их одно за другим, не читая толком, не вникая в суть, не испытывая ни раздражения, ни скуки, ни любопытства, пока не дошёл до последнего письма в стопке — тонкого, из дешёвой серой бумаги, без печати, сложенного вчетверо и засунутого в общую стопку, очевидно, по ошибке или по недосмотру слуг.

Он развернул его.

«Кассиан, — было написано торопливым, неровным почерком, буквы прыгали по строкам, как испуганные птицы, — если ты читаешь это, значит, меня уже нет. Я ухожу на север, в горы. Не ищи. Всё, что нужно было сказать, я сказала давно. Прощай».

Подписи не было. Кассиан перевернул лист, словно надеясь найти на обороте что-то ещё, какую-то приписку, какой-то знак, какой-то намёк, который помог бы ему понять,

кто автор этого письма и почему оно адресовано ему, но бумага была пуста, чиста, без каких-либо пометок. Он перечитал письмо ещё раз, потом ещё, и ещё, и каждый раз слова, написанные этим торопливым, неровным почерком, казались ему всё более и более смутно знакомыми, словно эхо голоса, который он когда-то слышал, но давно забыл. Почерк казался смутно знакомым, но он не мог вспомнить, кому он принадлежит. Женщина? Судя по наклону букв, по лёгкости нажима, по тем едва уловимым особенностям письма, которые отличают женскую руку от мужской, — да, вероятнее всего, женщина. Но кто?

Он попытался восстановить в памяти всех женщин, с которыми был близок за последние годы, всех, кого он знал достаточно хорошо, чтобы они могли написать ему такое письмо. Их было немного, совсем немного, и каждая оставила после себя какое-то воспоминание — лицо, запах, обрывок разговора, случайное прикосновение, — но ни одна из них не прощалась с ним так, чтобы потом написать подобное письмо, и ни одна не уходила на север, в горы, насколько ему было известно. Может быть, это была ошибка? Может быть, письмо попало к нему случайно? Но оно было подписано его именем, и это означало, что автор знал, кому пишет.

Кассиан отложил письмо и откинулся на спинку кресла, чувствуя, как усталость, накопившаяся за долгую дорогу, на-

валивается на него всей своей тяжестью, прижимая к креслу, словно невидимая рука. Взгляд его упал на противоположную стену, где висел портрет императора — официальный, парадный, с алыми знамёнами на заднем плане и с тем выражением лица, какое бывает у людей, привыкших к власти и не знающих сомнений. Кассиан смотрел на этот портрет каждый день много лет подряд, и портрет смотрел на него, и в этом взаимном разглядывании не было ничего, кроме обязанности, долга, присяги — всего того, что связывало его с этим человеком крепче любых цепей.

Рядом с портретом, на узкой дубовой полке, прибитой к стене, стояли награды. Кассиан поднялся, преодолевая сопротивление собственного тела, которое, казалось, налилось свинцом, и подошёл к полке. Ордена, медали, почётные знаки, наградные кресты, золотые и серебряные цепи — десятки, если не сотни предметов, каждый из которых символизировал какую-то битву, какую-то кампанию, какую-то победу. Он брал их в руки, вертел, читал гравировки, выгравированные на металле надписи: «За битву при Реке Скорби», «За взятие Восточной Крепости», «За подавление Мятежа в Западных Провинциях», — но все эти слова, все эти даты, все эти названия ничего ему не говорили, не вызывали в памяти ни одной чёткой картины, ни одного яркого воспоминания. Вот этот серебряный крест — за битву при Реке Скорби. Он помнил саму битву, помнил её в мельчайших деталях: грязь,

смешанную с кровью, ржание лошадей, крики умирающих, свист стрел, тяжесть меча в устающей руке. Помнил, как его конь, его предыдущий конь, был убит под ним, и как он рубился пешим, по колено в грязи и крови, пока не подоспела подмога. Помнил лица солдат, которых потерял в тот день, — молодые, испуганные лица, застывшие в вечной гримасе боли.

Но ради чего всё это было?

Император сказал: «Защищай империю». И Кассиан защищал, защищал долгие годы, не задавая вопросов, не сомневаясь, не оглядываясь по сторонам. Защищал от северных варваров, приходивших из-за гор с огнём и мечом; от восточных кочевников, налетавших, как саранча, и исчезающих в степи; от мятежных лордов на западе, возжелавших большей власти, чем у них была. Он проливал кровь — свою и чужую, — ради границ на карте, которые двигались то в одну, то в другую сторону, ради политических интриг, в которых он никогда не пытался разобраться, ради славы, которая теперь казалась ему пустым звуком, бессмысленным эхом в пустой комнате.

Он взял одну из медалей — тяжёлый золотой диск на алой ленте, высшую воинскую награду империи, которую вручали только в самых исключительных случаях и которую, как он

знал, за всю историю государства было вручено не больше дюжины раз. Кассиан взвесил её на ладони, чувствуя тяжесть металла, холод, проникающий сквозь кожу. Холодный металл. Тупой блеск. И больше ничего — ни гордости, ни удовлетворения, ни даже простого человеческого тщеславия.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал он, не оборачиваясь, не отрывая взгляда от медали в своей руке.

Дверь приоткрылась, и на пороге появился пожилой мужчина в ливрее дворецкого — должно быть, единственный из слуг, кто заметил его приход и решился потревожить хозяина. Он стоял, почтительно склонив голову, и ждал, когда на него обратят внимание.

— Господин, — произнёс он с поклоном, — мы не ждали вас так скоро. Приготовить ужин?

Кассиан повернул голову, и дворецкий, встретившись с ним взглядом, едва заметно вздрогнул, хотя и постарался скрыть это. Он смотрел на Кассиана с той отстранённой вежливостью, за которой пряталось любопытство, смешанное с осторожностью, — старый слуга, преданный, исполнительный, знающий своё место. Кассиан не помнил его имени, хо-

тя, вероятно, видел его сотни раз до отъезда.

— Нет, — сказал он. — Не нужно. Я не голоден.

Дворецкий поклонился ещё раз и бесшумно скрылся за дверью, оставив Кассиана наедине с его наградами, с его медалью, с его пустотой.

Он остался один. Он стоял у полки с наградами, держа в руке тяжёлую золотую медаль, и слушал, как за окном завывает ветер, как стучит по стёклам мелкий дождь, как скрипят голые ветви деревьев в саду. Вечер опустился на город незаметно, исподволь, заполнив комнату синеватыми сумерками, в которых предметы теряли очертания и становились похожими на призраков. Где-то вдали, наверное, ещё продолжался праздник: слышались приглушённые взрывы петард, обрывки музыки, доносившиеся, вероятно, с площади перед дворцом, чьи-то восторженные вопли, напоминавшие крики чаек над морем. Город праздновал его возвращение. Город был счастлив, город ликовал, город праздновал победу.

Кассиан не чувствовал ничего.

Он вдруг остро осознал это — не как мысль, не как идею, не как предположение, а как физическое ощущение, как боль, как холод, как пустоту, которая зияла внутри него, по-

добно бездонному колодцу, вырытому в самой середине его существа. Он прижал ладонь к груди, к тому месту, где, по его представлениям, должна была находиться душа, и попытался нащупать эту пустоту снаружи, но, разумеется, ничего не нашёл: кожа, мышцы, рёбра — всё было на месте, всё было обычным, человеческим, нормальным. Но за этим — за этой телесной оболочкой, за этим панцирем из плоти и костей — не было ничего, только гулкая, ледяная, всепоглощающая пустота.

Он стоял так долго, очень долго, неподвижно, словно статуя, пока комната совсем не потемнела, пока последний отблеск серого осеннего неба не погас за окном, пока темнота не заполнила все углы и не поглотила очертания предметов. Потом, когда темнота стала полной, абсолютной, непроглядной, он медленно, очень медленно, опустился на пол, прислонившись спиной к холодной стене, и остался сидеть, вытянув ноги и уронив руки на колени. Медаль всё ещё была зажата в кулаке.

Впервые в жизни Кассиан понял, что ему некуда идти.

Не потому, что у него не было дома — дом был, этот или другой, какая разница. Не потому, что у него не было обязанностей — обязанностей было больше, чем когда-либо, и все они требовали его внимания. Не потому, что его никто

не ждал — его ждал весь город, вся империя, весь мир, который он, как считалось, спас от гибели.

А потому, что впервые за тридцать четыре года жизни он перестал понимать, кто он такой.

«Ворон Императора» — это прозвище носило его, как плащ, как доспех, как маска, скрывающая от посторонних глаз то, что было под ней. Кассиан никогда не задумывался о том, что находится под этим плащом, под этим доспехом, под этой маской, потому что у него не было на это времени, не было ни малейшей возможности остановиться и заглянуть внутрь себя. Война, приказы, стратегия, выживание — всё это заполняло его дни и ночи, не оставляя места для сомнений, для рефлексии, для тех бесполезных, изматывающих размышлений, которым предаются люди, не знающие, чем занять свой ум.

Но теперь война закончилась. По крайней мере, эта война, этот поход, эта кампания. И что осталось?

Он разжал кулак, и золотая медаль, которую он всё это время сжимал с такой силой, что на ладони остался отпечаток, выскользнула из его пальцев и со звоном упала на пол. Диск прокатился по каменному полу, поблёскивая в лунном свете, который пробивался сквозь окно, и замер у ножки сто-

ла, как брошенная монета, как жертва, принесённая непонятно кому и непонятно зачем.

Он поднялся. Тело слушалось с трудом, словно за тот час, что он сидел на полу, мышцы успели заоченеть, застыть, превратиться в камень. Кассиан потянулся, разминая плечи, разгоня застоявшуюся кровь, и подошёл к окну. Внизу, в саду, шелестели голые ветви деревьев, раскачиваемые порывами ветра, и этот шелест напоминал шёпот, неразборчивый, бессмысленный, тревожный. За стеной сада улица была пуста: праздник, видимо, переместился ближе к дворцу, оставив этот район в относительной тишине. Только одинокий фонарщик медленно брёл от столба к столбу, зажигая масляные фонари, и его худощавая фигура, сгорбленная и какая-то обречённая, казалась вырезанной из чёрной бумаги на фоне белёсого тумана, поднимавшегося от земли.

Кассиан смотрел на него, на этого одинокого человека, занимавшегося своим привычным, необходимым делом, и в голове его, как назойливая осенняя муха, крутилась одна и та же мысль, одна и та же фраза, которую он не мог прогнать:

«Я умер там, на войне. Просто тело ещё не знает об этом».

Он отошёл от окна и направился к двери, решив, что нужно чем-то занять себя, чем-то отвлечь, что нужно спуститься

вниз, в кухню, где, возможно, ещё тёплятся угли в плите, и найти что-нибудь поесть — не потому, что он был голоден, а потому, что нужно было чем-то занять руки, занять голову, отвлечься от этой гулкой пустоты внутри, которая, как ему казалось, становилась всё больше и больше с каждой минутой.

Но на полпути к лестнице он остановился, остановился как вкопанный, и замер, прислушиваясь к собственным мыслям. Вспомнил лицо старого дворецкого, его поклон, его тихое «Господин». Вспомнил молодых всадников на площади, смотревших на него с обожанием и страхом. Вспомнил чиновника с грамотой, так и не произнёсшего свою речь. Вспомнил толпу, кричавшую его имя, бросавшую в воздух шапки и цветы.

Они все видели в нём нечто, чего он сам больше не видел. Они видели героя, победителя, спасителя, защитника, символ надежды. А он...

Он видел только пустоту.

Кассиан спустился по лестнице, прошёл через вестибюль, не заботясь о том, чтобы взять плащ, не заботясь о том, что на улице холодно и сыро, толкнул входную дверь и вышел в сад. Ночной воздух обжёг лицо, заставил глаза слезиться, но

он не заметил холода, не почувствовал его, как не чувствовал уже давно почти ничего, что имело отношение к его собственному телу. Он прошёл через сад, по дорожке, усыпанной мокрыми листьями, к калитке, толкнул её и вышел на улицу.

Город спал — или притворялся спящим после долгого, утомительного праздника. В окнах домов гасли последние огни, и только кое-где ещё горели свечи, оставляя на мокрых мостовых дрожащие золотые дорожки. Фонарщик уже скрылся за поворотом, оставив за собой цепочку тёплых, дрожащих огней, которые, казалось, плыли в тумане, как крошечные кораблики. Кассиан шёл по пустой мостовой, и звук его шагов, гулкий, одинокий, отдавался от стен домов эхом, которое преследовало его, как неотвязный спутник.

Он не знал, куда идёт. Он просто шёл вперёд, в ночь, в неизвестность, в темноту, которая казалась ему теперь единственным местом, где он мог находиться, единственным состоянием, соответствующим его внутреннему состоянию.

Потому что темнота снаружи была ничем, абсолютным ничем, по сравнению с той темнотой, что разливалась внутри него, — холодной, бездонной, и, как он начинал подозревать с ужасающей ясностью, вечной.

В конце улицы, у самой городской стены, он остановился, остановился и прислонился спиной к холодной каменной кладке, шероховатой и влажной от тумана. Запрокинул голову и посмотрел на небо. Звёзды были яркими, колкими, равнодушными, они светили всем и никому, светили миллионы лет и будут светить ещё миллионы, и им не было никакого дела до того, что происходило внизу, на этой маленькой планете, в этом маленьком городе, с этим маленьким человеком по имени Кассиан. Он смотрел на них до тех пор, пока глаза не начали слезиться от холода и напряжения, пока звёзды не расплылись в мутные пятна, пока всё небо не превратилось в одно сплошное серое месиво.

Потом он опустил взгляд и медленно, очень медленно, опустился на корточки, обхватив колени руками и прижавшись лбом к согнутым запястьям.

Он не плакал. Он не кричал. Он не бил кулаками по камню и не проклинал судьбу. Он просто сидел, прислонившись к холодному камню городской стены, и чувствовал, как из него уходит всё — остатки сил, остатки тепла, остатки памяти, остатки того человека, которым он когда-то был и которого больше не существовало.

Пепел на ветру. Вот чем он был.

Он, Кассиан, Ворон Императора, герой, победитель, спаситель, защитник, легенда. Всего лишь пепел, развеянный ветром, — без вкуса, без запаха, без следа.

И единственное, что он знал наверняка в эту ночь, в эту холодную, туманную, бесконечную ночь, — это то, что утром ему придётся встать, надеть маску героя, натянуть на лицо привычное выражение уверенности и идти к императору, докладывать о победе, принимать поздравления и награды.

Потому что война не закончилась.

Она никогда не заканчивалась. Просто раньше он этого не замечал, не хотел замечать, не мог позволить себе заметить. А теперь — заметил, и это знание, это осознание, эта беспощадная ясность давили на него тяжелее, чем любые доспехи, тяжелее, чем все его награды вместе взятые, тяжелее, чем сама земля, которая рано или поздно примет его в свои объятия.

Где-то вдалеке, на самой границе слышимости, прокричал петух, возвещая начало нового дня, и Кассиан медленно, с трудом, как глубокий старик, поднялся на ноги, отряхнул плащ и зашагал обратно к своему пустому дому, к своей пустой жизни, к своей пустой, бесконечной войне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.